

*Памяти мамы и отчима.
Те, кого любим, вечно странствуют вместе с нами.*

Один

Один из возможных путей — относиться серьезно
Лишь к сексу, однако пески шипят, приближаясь
К большому обвалу в то, что случилось.

Джон Эшбери¹

1

Весна ранняя, тысячелетие новое, девушка пятится по яхтенной палубе. Идет медленно, перегнувшись почти вдвое, ковш в левой руке, в правой кастрюля горячей смолы. Из ковша тонкой струйкой заливает смолу в швы, куда вчера весь день стамеской и колотушкой забивала паклю.

Вначале — просто работа.

Яхта стоит на деревянных кильблоках, палуба в двадцати футах над землей — над жесткой плоскостью битого кирпича и бетона, откуда весеннее тепло выманило на свет неожиданные кляксы бледных цветочков, запустивших корни в неглубокие жилы почвы. Вокруг верфь, где некогда строили серьезные суда — паромы, угольные баржи, траулеры, а в войну дере-

¹ Джон Лоренс Эшбери (р.1927) — американский поэт-постмодернист; цитируется его поэма «Автопортрет в выпуклом зеркале» (*Self-portrait in a Convex Mirror*, 1975; пер. Я. Пробштейна) из одноименного сборника, за который он в 1976 г. получил Пулитцеровскую премию. — *Здесь и далее примеч. пер. (Переводчик благодарит за поддержку Александра Богдановского и Сергея Максименко.)*

вянный минный тральщик, — но теперь обслуживают и латают прогулочные лодки: одни на кильблоках, другие у понтонов. Жужжат дрели, бубнят радиоприемники, изредка стучит молоток.

На палубе девушка одна. Перед ремонтом мачту сняли, а весь такелаж вместе со стойками и леерами убрали на хранение. Законопатив один шов, девушка тотчас принимается за другой. Смола в кастрюле остывает. Остывая — густеет. Скоро надо прерваться, разжечь газовую горелку на камбузе, опять разогреть смолу — но еще не пора.

Ниже, в тени стального корпуса, молодой человек в перчатках, напевая себе под нос, окунает болты в свинцовые белила. Он высок, голубоглаз, аристократичен. Белокурые волосы, издали вроде густые, уже редеют. Имя его — Хенли, но все зовут его Тимом — ему так приятнее. Переспит ли он с девушкой на палубе, пока неясно.

Взяв очередной болт, он прерывает свое занятие, окликает:

— Мод! Мод! О где же ты, Мод? — и, не получив ответа, с улыбкой возвращается к работе. С девушкой он знаком шапочно, но знает, что подтрунивание с ней не пройдет — она даже не понимает, что это значит. Это забавно, это пленительно, безобидный пробел, причуда нрава, одна из тех, что ему любезны, как и прямота ее прямодушного карего взгляда, и кудри, в которых только всплески и недозавитки, потому что стрижется она коротко, под мальчишку, и татуированные буквы на руке (на исподе левого предплечья) — удивляешься, увидев впервые; любопытно, какие еще сюрпризы она преподнесет. И намек на уилтширский акцент, и как она сосет порез, но не

поминает о нем ни словом, и как груди ее не больше персиков и твердые, наверное, как персики. Вчера она стянула с себя свитер, и Тим впервые увидел двухдюймовую полоску голого живота над поясом джинсов, и совершенно внезапно на Тима накатила серьезность.

Оба они состоят в университетском яхтенном клубе. С ними сюда приехали еще двое, но уже возвратились в Бристоль — может, думает Тим, чтоб не мешать, оставить их наедине. Мод, интересно, тоже так думает? Что мизансцена уже выстроена?

Он чует смолу. И душок сладкой речной гнили, и старые сваи, ил, земноводную растительность. Здесь долина затоплена, сломалась под натиском моря, дважды в день вдоль лесистых берегов туда-сюда катит соленая вода — в прилив лижет древесные корни, в отлив оголяет сверкающие ручьи тины глубиной по бедра. Местами, выше по реке, разбросало старые лодки — пусть сами отыскивают обратный путь в никуда: почернелые шпангоуты, почернелые надводные борта, некоторые до того древни и гнилы, будто носили по морям викингов, аргонавтов, первых мужчин и женщин на Земле. Здесь водятся серебристые чайки, белые цапли, бакланы, имеется местный тюлень — ни с того ни с сего всплывает за бортом, и глаза у него, как у лабрадора. Моря не видно, но оно близко. Два изгиба речного берега, затем гавань, городок, замки на скалах. И открытое море.

Перед эллингом в боксерской стойке под фонтаном голубых искр стоит человек в красном комбинезоне и сварочных очках. У здания администрации прислонился к железному столбу человек в костюме, курит. Тим потягивается — ах-х, восхитительно, —

снова поворачивается к своим болтам, к яхте, и тут в воздухе что-то мелькает — взмах перистой тени, точно полоснули шипом по глазам. Вероятно, звук тоже был — не бывает беззвучных ударов, — но если и так, звук затерялся в шуме крови и следа не оставил.

Тим смотрит на ковш, упавший возле кустика белых цветов, — из ковша течет смола. Мод лежит чуть подальше навзничь — руки вверх, голова набок, глаза закрыты. Невероятно, до чего трудно смотреть на нее — на эту девушку, только что погибшую на битом кирпиче; одна туфля на ноге, другая слетела. Тим ужасно ее боится. Обхватывает голову руками в перчатках. Его сейчас стошнит. Он шепотом окликает Мод. И шепчет что-то еще, например, «твою мать, твою мать, твою мать»...

А потом она открывает глаза и садится. Смотрит — если смотрит — прямо вперед, на старый эллинг. Поднимается. Кажется, ей не трудно, не больно, хотя впечатление такое, будто она заново собирает себя из кирпича и цветочков, восстает из собственного праха. Она идет — голая нога, обутая нога, голая, обутая — и делает шагов двенадцать или пятнадцать, а потом вдруг падает — на сей раз ничком.

Сварщик наблюдает все это сквозь черноту очков. Крутит рычаг на газовом баллоне, задирает очки на лоб и срывается с места. Другой человек, тот, что курил перед администрацией, тоже бежит, но не так ловко, словно вообще-то бегать не любит или не хочет прибежать первым. Сварщик падает на колени у головы Мод. Приближает губы к самой земле. Что-то шепчет Мод, два пальца кладет ей на горло. Человек в костюме садится на корточки с другой стороны, точно араб в пустыне; брючины туго обтягивают ляжки.

Где-то принимается звонить колокол, пронзительный и неумолчный. Прибегают другие — рабочие в красных комбинезонах, женщина из администрации марины, какой-то человек в лыжных штанах — наверное, только что сошел с лодки на понтон.

— Не толпитесь! — говорит сварщик. Кто-то, запыхавшись, передает вперед зеленый ящик. Женщина из администрации раза три-четыре повторяет, что вызвала спасателей. Она говорит не «скорую», а «спасателей».

Потом они все замечают Тима — он стоит футях в пятнадцати, точно к воздуху прищиплен. Замечают, хмурятся, снова переводят взгляд на Мод.

2

Ни стоек, ни лееров. Наверное, от смолистых испарений закружилась голова. Издалека слышно, как приближается «скорая». Ей, помимо прочего, надо пересечь реку. Парамедики надевают на Мод шейный корсет, а затем переворачивают, точно драгоценную археологическую находку, ископаемое болотное тело, пепельно-хрупкую сверстницу Христа. Стабилизировав пострадавшую, один парамедик усадил Тима на кузовную ступеньку «скорой» и объяснил, что у Тима шок, но волноваться не надо — с учетом обстоятельств состояние у его подруги удовлетворительное. Ее вывезут из долины на вершину холма, а оттуда заберет вертолет. Вертолет доставит ее в плимутскую больницу. Где-то через полчаса она уже будет там.

Тим очухивается — отпускает дрожь, в башке варится что-то узнаваемое; оказывается, он сидит в ад-

министрации марины, кутаясь в шотландский плед. Цветы в горшках, картотечные шкафы, речные карты. Выцветший плакат с яхтой — яхта старая, гоночная, с избыточной парусностью, дюжина матросов болтают ногами на наветренном борту. Женщина, которая вызвала «скорую», вполголоса беседует с мужчиной в костюме. Приносит Тиму кружку чая. Чай обжигает горяч и сладок непереносимо. Тим отпивает, затем встает и складывает плед. Не сразу отмахивается от подозрения, что и сам пострадал, что у него травма, надо найти ее и осмотреть. Благодарит мужчину и женщину (вежливый какой — ну еще бы, эти частные школы!), идет на стоянку к своей старой «лянке» и едет в Плимут.

Приезжает в глубоких сумерках. Пожалуй, за всю жизнь не бывал в заведениях ужаснее этой больницы. Отделения травматологии не найдешь. На некоторое время Тим застревает в дверях ярко освещенного коридора урогенитального отделения, но затем дежурный интересуется, все ли с Тимом хорошо, и показывает, куда идти — по тропинке меж кустов до стоянки, где у широких, подбитых резиной дверей сгрудились машины «скорой помощи».

Женщина за стеклом регистратуры осведомляется, кем он приходится Мод, и после паузы Тим отвечает, что другом. О диагнозе Мод, ее состоянии женщина сообщать не желает. Может, она и не в курсе. Тим сидит в приемной на потертой красной банкетке. Рядом пожилая пара. Видок у них — словно только что сбежали из-под бомбежки; так, во всяком случае, Тим воображает подобных людей. Проходит полчаса. Он опять идет в регистратуру. Женщину сменила другая женщина. Эта дружелюбнее.

— Минуту, — говорит она. Звонит на сестринский пост — это где-то далеко за распашными дверями. — Стэмп, — говорит она. — Днем доставили вертолетом. — Слушает, кивает. Говорит: — Да. Ясно... Да... Да... Друг... да... поняла... Спасибо. — Кладет трубку. Улыбается Тиму.

Мод лежит в больнице трое суток. Первую ночь — в реанимации, потом ее переводят в отделение, в старый больничный корпус. Из окна не видно моря, но виден свет моря. В палате еще десять женщин, одна за ширмой — голосок детский и такое ожирение, что она никому не показывается на глаза.

По звонку врача из Суиндона приезжают родители Мод. Оба — школьные учителя, занятые люди. Привозят пакет даже в шоколаде и журналы, откуда уже аккуратно вырезаны (и, наверное, запечатаны в пластик на ламинаторе в кухне) кое-какие картинки — изображения предметов, иллюстрации человеческих состояний: обычно школьные учителя такие вещи и преподают. Мать называет ее Моды, отец протирает очки. Посреди разговора Мод засыпает. Родители смотрят на нее — восковое лицо на подушке, бинтовая шапка на голове. Озираются — ищут какого-нибудь невозмутимого медика, пусть за все отвечает он.

Из больницы Мод выходит на костылях, с ногой в гипсе. Тим везет ее назад в Бристоль. Он три ночи провел в гостинице возле доков, где по жарким коридорам бродили китайские моряки в одних трусах — расхаживали размашисто из номера в номер, все двери нараспашку, на кроватях валяются мужики, курят и смотрят телик.

Костыли Тим убирает в багажник. Мод очень молчалива. Он спрашивает, не включить ли радио, и она отвечает, что как угодно. Он интересуется, больно ли ей. Спрашивает, помнит ли она что-нибудь. Извиняется, а когда она уточняет, за что, говорит, что не знает. Но все равно прости. Жалко, что так вышло.

У нее квартира на Вудленд-роуд, неподалеку от биофака, где она учится в магистратуре. Живет там по крайней мере полгода, но Тиму, когда он следом за ней поднимается по лестнице, квартира кажется нежилой. У Тима есть сестры, двойняшки, и некоторые представления о том, как живут девочки, — ароматические свечи над камином, вешалки с платьями на дверях, покрывала, пледы, фотографии в рамках-сердечках. У Мод — ничего подобного. В тесной прихожей выстроились две пары кроссовок и пара туристических ботинок. Мебель в гостиной — трех оттенков коричневого. На стенах — ни единой картины. Уличный свет сочится через большое окно на ковер — из тех ковров, что снесут любое надругательство. Все очень опрятно. Пахнет разве что нутром здания.

Мод садится в кресло, костыли кладет на пол. Тим заваривает ей чай, хотя молока в холодильнике нет. Она бледна. Обессилена. Он говорит, что ему, пожалуй, лучше переночевать тут на диване, если, конечно, ей больше некого позвать.

— Тебе не положено оставаться одной, — говорит он. — Особенно в первые сутки. В памятке так написано.

— Со мной все хорошо, — говорит она, а он:

— Ну, вообще-то, наверное, нет. Пока еще.

В кухонных шкафах шаром покати. Он бежит в магазин. В супермаркете размышляет, не пользуется ли ее слабостью — может, никакой он не услужливый друг, а, наоборот, манипулятор и коварная сволочь. Эта мысль корней не пускает. Тим набивает корзину продуктами, расплачивается, идет назад, и городской ветер бьет ему в лицо.

Он готовит сырное суфле. Готовит он хорошо, суфле легкое и аппетитное. Мод благодарит, съедает три вилки. Засыпает сидя в кресле. Чутьочку скучно, чутьочку смутно. Когда Мод просыпается, они час смотрят телевизор, потом она уходит в спальню. Тим моет посуду, лежит без сна на диване, укрывшись пальто. Хорошо бы найти ее тайный дневник, прочесть ее тайные мысли. Ее сексуальные фантазии, ее страх одиночества, ее планы. Дневник-то у нее есть? Его сестры ведут дневники, пишут тома, в основном в тетрадки с замочками, но Мод, несомненно, дневника не ведет, а если б и вела, не писала бы про сексуальные фантазии, про страх одиночества. Сквозь сетку на окне видна размазанная луна, а когда Тим закрывает глаза, перед глазами, точно сигаретный дым, плавают китайцы.

Он просыпается оттого, что Мод рвет. Она добралась до ванной; дверь открыта, горит свет — холодный свет. Тим видит Мод со спины — в ночной рубашке, склонилась над розовой раковиной. Вытошнить ей толком нечего. Он топчется в дверях на случай, если придется ее ловить, но она вцепилась в краны, держится.

До Королевской больницы пять минут езды — тем более среди ночи. Мод тут же кладут, увозят в кресле-каталке. Тим не успевает ни попрощаться, ни пожелать удачи.